А.Жмаев

Т У Д А И О Б Р А Т Н О

/ретроспективный дневник/.

ЖМАЕВ АЛЕН МИХАЙЛОВИЧ /1934 - 1987/, - филолог, писатель, журналист, художник. Родился в Хабаровске. Окончил ЛГПИ. Кандидатская диссертация по русско-английским литературным связям. Работал в ЛГПИ, был уволен, затем - школа в Харькове и пединститут в г. Ош /Киргизия/, откуда все-таки был вытеснен. Последние годы жил в Новгородской области, работал в сельской школе. Будучи в г. Ош, написал огромное количество статей в тамошней печати - о литературе, театре, живописи и т.д. /более 300 статей/. Многие материалы, - книги, рукописи, картины погибли при пожаре в декабре 1986 года. Роман "Туда и обратно" сохранился. Произведение, определенное Жмаевым, как "ретроспективный дневник", было написано в июле-августе 1972 года в Харькове. Его объем = 35 авторских листов не позволяет опубликовать его в "Часах" полностью. Приводим названия частей романа, которые дадут возможность читателям представить его тематическую структуру.

1. Мальчик из интеллигентной семьи.
2. Студент.
3. Молодой специалист хочет расти /о работе в техникуме в Комсомольске-на-Амуре/.
4. Снова в Ленинграде.
5. Страхи.
6. Немолодой специалист, который больше не будет расти.

В этом номере журнала публикуется отрывок из второй части: "Студент".

Ахмет, Римма и еще один новый приятель - Виктор - все сдают, как надо, и наши фамилии среди тех, кто зачислен. С глупыми и счастливыми лицами ходим мы среди раскладушек и матрацев абитуры, пьем с теми, кто не прошел, обмениваемся адресами и верим, что погибшие вернутся к нам через год. Вместе живем мы лучшую неделю в жизни человека: от зачисления до начала занятий.

Эта неделя с соснами на Финском заливе, лебедями на озерах Александровского парка, роскошью дворцов, неразличимо сливающихся в один дворец, песнями и кострами на Карельском перешейке, плотно набитыми электричками, в которых сладко прижимают к той, с кем хотелось оказаться рядом, с планами столько прочесть и посетить, полная признаний и исповедей, любви ко всем на свете и особенно к тем, кто рядом с тобой, кажется необъятно огромной, вмещающей больше счастья, чем вся предшествующая жизнь.

Еще не начались практические, идут лекции, слишком быстрые и не очень понятные, каждый день прибавляется в языке десяток-другой слов вроде "бытие" или "махизм", слов, резко отличающих нас от прочих смертных. Еще не выветрился упоительный запах новых толстых тетрадей, старательно исписанных, ещё все ходят на лекции и старосты не понимают, зачем нужно вести учет посещаемости. Ещё ходишь с мальчиками под руку по институтским коридорам и говоришь что-то очень умное, ещё только начинаются разговоры, кто из преподавателей читает лучше, ещё во втором часу ночи не обговорено и половины того, что нужно сказать.

Ещё вся жизнь впереди. И город не обманет.

х х х

Ахмет, Виктор и я живем в одной комнате. По мысли Ахмета, нашего завхоза, у нас на базе сообща купленной керосинки - крепчайшая коммуна.

- Супчики варить будем! - ликует Ахмет.

Он такой ревностный хранитель справедливости, что если я возвращаюсь от Риммы /ей общежитие не дали, и она снимает угол далеко на Петроградской стороне/ слишком поздно, наш завхоз подымает с подушки сонную голову и мотает ей в сторону тумбочки:

– Там колбаска, милорд. Дави.

И с храпом немедленно засыпает.

Виктор, прикупающий что-нибудь в кулинарии от собственных щедрот, ибо кулинарные возможности Ахмета ему не по нутру, разворачивает съестное:

– Руби, ребята.

Ахмет деликатно берет кусочек и отечески ворчит:

– Помрешь, Витёк, на сухомятке.

Насытившись, мы с Ахметом наперебой рассказываем Виктору, что нового узнали в университете культуры. Четверг, когда мы слушаем лекции о музыке с участием лучших артистических сил Ленинграда, для нас – день священный. После каждого выхода мы чувствуем себя едва ли не академиками.

– Арии подзубрим, оперные сюжетцы почитаем, будем парни, что надо, – говорит Ахмет.

– Ну-ну, – поощряет нас Виктор.

Однако музыка – не та тема, которую мы в состоянии поддерживать слишком долго. Литература, которую мы сейчас изучаем в свете сталинского учения о языке, нам гораздо ближе.

– Сколько поверженных кумиров! – говорю я, вспоминая, что Симонов, чьи любовные стихи девочки старательно переписывают в блокнотики, сказывается, как пишет "Комсомолка", чрезмерно увлекся личными переживаниями. Его лирический герой совсем потерял типичность. В другой статье досталось Прокофьеву, упорно воспевающему ручейки и не желающему замечать героизма простых людей. Крепко получил в "Правде" Сосюра, впавший в национализм в стихотворении "Люби Украину". В биографический натурализм, как утверждает "Литературка", скатился Евгеньев-Максимов.

– Во дают по мозгам! – хохочет Ахмет. И вдруг спохватывается:

– Это какой Евгеньев-Максимов, что о Некрасове написал,

этот?

– Он, родимый, – меланхолически замечает Виктор.

– Да это ж отличный старикан! – кричит Ахмет. – Я его сам слышал. Он о Николае Алексеевиче всё назубок, до корней знает. Ну, врут!

– Как это "врут"? – возмущаюсь я. – Может быть, он на самом деле сообщает те факты, которые не нужны читателю!

– А ты уж точно знаешь, чего тебе не нужно, – смеется Ахмет. – Ох и карась ты, милорд: что ни прочтешь – всему веришь.

– Не всему. Но если тебя послушать, так вся наша литература врет.

– А ты такие колхозы, как в книжках, видел?

– Ну, не видел. Что из того?

– А то, – говорит Ахмет, – что голодает у нас мужичок. И давно бы из деревни убежал, кабы полканы не держали.

Начинается еще один бесконечный спор. Я убеждаю Ахмета, что он не понимает всей глубины метода социалистического реализма. Наша литература развивается, как учит Сталин в "Кратком курсе": типично не то, что кажется в данный момент крепким, но начинает отмирать, а только то, что нарождается, развивается, чему принадлежит будущее.

– Стать на твою точку зрения, Ахметушка, это значит обрезать литературе крылья.

– И пускай по земле пошкандыбает, – говорит Ахмет. – Ничего с этой курвой не случится. Ты вот возьми, к примеру, сколько моя тетка на трудодень получает...

Начинаются расчеты, из которых следует, что всё написанное о деревне наших дней, – большая лажа. Спорить с Ахметом трудно. Он не слишком внимателен ко всяким теоретическим доводам, но зато неистощим в конкретных примерах.

– Но ведь литература, пойми ты, – это обобщение! – кричу я.

– На хрен мне такое обобщение, когда отца родного не узнаешь, – не сдается Ахмет, сбивая меня с теоретических высот.

Я слабею, ибо чувствую, что, как в шахтерских городах улицы стоят над пропастью, так и у меня под мелким пластом прочи-

танных книг – пустота, отсутствие всякого жизненного фундамента. Ахмету не присылают из дому, и он вкалывает то на хлебозаводе, где развозит по ночам булки, то на овощном складе, откуда неизменно приносит нам арбуз или помидоры. Меня же от жизни охраняют мамины переводы. Так всегда. Стоит мне столкнуться с людьми, которые разбираются не только в юбках малых и больших, с людьми, которые умеют отличить подлинные чувства от вычитанных, давшиеся горбом истины – от тощих философем, как они вмиг доказывают мне всю несерьезность и детскость моего мироотношения.

– Зелен ты, сэр, ох, зелен! – качает головой Ахмет, а я завидую его мозолистым рукам, сопревшим майкам, тому, что он полуглох в своем цехе, когда учился в вечерней ШРМ. Мне бы его биографию!

Виктор в наши крики не вмешивается, но что бы я ни сказал, он сопровождает это насмешливым комментарием. Стоило мне пристроиться у окна, чтобы записать свои впечатления от посещения Русского музея, как он начинал приплясывать рядом.

– Милорд увековечивается, – говорил он сладким голоском. – Я вижу растроганных детей над этой тоненькой, скромной, синей тетрадкой. Смотрите, дети, как изящно чувствовал ваш папа, когда он был молодым. И вы, дети, тоже вырастите, и тоже будете вести дневник. Совсем, как ваш папа.

Спит Виктор мало и плохо, его мучают головные боли, нелады с дыханием. Крохотный, бледный, он сбивается в комок на кровати, тонет в своем роскошном балтийском шарфе и, закутанный в одеяло, похож на больного ребенка. Под глазами у Витьки – синие круги, он сплевывает в платок, но стоит его спросить о здоровье, как он неизменно отвечает:

– Дремота с ломотой. Плевать – скоро кончится.

Виктор покупает книг вдвое больше, чем мы с Ахметом вместе. Он приносит Фофанова, Тютчева, Майкова – тех поэтов, которым в лекциях посвятят минут пять, а то и не упомянут вовсе, и я допытываюсь, почему его тянет именно к ним.

– Порочные наклонности, – отвечает он, глядя мне прямо в глаза. – Такая планида.

Ахмет в приобретении книг тянется за Виктором, но покупает то, что проще и утилитарней: разработки занятий по русскому

языку, системы уроков по литературе и т.п., - то, что Виктор игнорирует вовсе. Обзаведясь очередной методической обоймой, Ахмет сваливает ее под собственную кровать.

- Ах, дьявол, давит, - скрипит он зубами среди ночи, поднимается, с электрическим треском чешет нога об ногу, вытаскивает из-под продавленной сетки монографию, ставшую углом, и мечет от себя наотмашь. Однажды книга "Герои наших дней" вылетела в окно как раз на ту крышу под нами, где собираются кошки.

- Хорошая книжка, полезная, - заметил Виктор. - Пусть там полежит до весны. Книги имеют свою судьбу.

На этой же крыше, на ее облупленных железных листах, спортсмены, жившие с нами рядом, большими печатными буквами выражали свои вожделения. Виктор внимательно изучил надписи и сказал удовлетворенно:

- Живые приметы нового.

Там же наши соседи "давили бутылочку-другую". После этой процедуры начинались такие слова, что все окна, выходящие внутрь двора, захлопывались, как порывом ветра. Виктор прислушивался к словам с большим интересом.

- Приятен, но краток отдых солдата, - говорил он в таких случаях.

Когда Витьке становилось совсем плохо и кашель мучал его ночами напролет, он обвязывал голову полотенцем, как чалмой, и тихо напевал:

"Ох ты, бог, ты мой бог,
Что ж я маленьким не сдох!"

Ахмет рычал:

- Заныл. Кончай!

Читал Виктор урывками, почти незаметно для нас, как будто нехотя просматривал книжку между делом, но всегда выяснялось, что прочел он быстрее и понял лучше, чем мы с Ахметом. Среди нашего зубрежного молчания он любил говорить что-нибудь внезапное, ровно ни к чему не имеющее отношения. Особенно ему нравилось: "Господа! Если к правде святой..."

Ахмет любил повторять, что народ обижен, нет у него таких заступников в литературе, как в XIX веке. Вот Некрасов

мужика любил! Это тебе не Исаковский! Виктор после таких монологов открыл какое-то исследование о Некрасове и мягко подозвал Ахмета:

- Тут кое-что для тебя есть. Вот, - он отчеркнул острым ногтем.

Ахмет громко прочел:

"Только татарское ухо может выдержать дикие звуки музы Некрасова".

И отомстил Виктору по-своему, сильно и простодушно.

- Нас врач учил не задерживать в себе воздух, - улыбнулся он во всю широкую, красную свою рожу и поступил, как рекомендует медицина.

Виктор поднял голову с подушки:

- Даровито!

И отвернулся к стене.

Из учебников Ахмет помногу брать не мог, но что взял, то - намертво. Тонкие вещи ему давались с трудом - так рукой в рабочей рукавице не возьмешь рюмку. Но Ахмету достаточно было и капли, чтобы захмелеть. Открывая цивилизацию наново, он кричал об очевидных вещах с могучим напором.

- Ахметушка, - советовал Виктор, - ты на горло не бери. От этого голова страдает.

- Ха! - отвечал Ахмет.

"Ха" у него получалось бесподобно. С такой же убедительностью его половецкие предки шибали дубиной. И все же он умел взять свое. На семинаре по фольклору ему удалось схватиться с Ланиным.

Ланин болел за судьбу фольклора. Он создал себе имя на собирании частушек, славящих колхозы, и остро-современно интерпретировал былины.

С пафосом рассказывал он нам, как Илья Муромец поссорился с Владимиром Красное Солнышко и в гневе начал сшибать маковки церковные.

- Вы видите, товарищи, - возгласил Ланин, - что уже тогда в народном самосознании Илья Муромец предстает как, я бы сказал, борец, да-да, борец с деспотией, с церковным мракобесием,

и мы всем сердцем ощущаем его как соратника, если позволите так выразиться, как друга по борьбе.

- Вот чушь! - весело и громко изумился Ахмет и рванулся возражать.

Ланину пришлось нелегко.

С тех пор, когда я при Ахмете начинал высокопарно завираться, он приговаривал:

- Маковки, дружок, не сшиби.

Раскрыв свою пасть, Ахмет ссыпал в нее, как в бункер, сахарный песок и, ворочая зубами-жерновами, ворчал:

- Казенная метода во всем. Где профессора, к которым студенты ходили пить чай? Повыродились.

- Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, - отвечал Виктор. - Только зернышки собирает, труля-ля...

Х Х Х

Дверь нашей комнаты не распахнулась, как обычно, а учтиво растворилась, и на пороге предстал породистый мужчина, нежно пророкотавший:

- Разрешите, молодые люди?

- Выселять пришли, - на всю комнату шепнул Ахмет, - Дадут шороху.

Но мужчина оказался моим московским дядей, тем самым, на которого, по словам мамы, я ни в коем случае не должен быть похож.

Дядя не заметил ни афиш вверх ногами, ни оторванной дверцы у тумбочки. Он сердечно расспрашивал нас об учебе, о самочувствии. Его манеры и голос облагораживали наш "собачник". Он говорил о журналах и знакомых профессорах, а нам хотелось переродиться и немедленно подмести пол. На мгновенье дядя обратился ко мне:

- У вас внизу продается отличное пиво, я помню еще по прошлой командировке. Пришлось тогда утрясать кое-что с директором Детгиза.

Он протянул мне пятерку.

- Не возражаете, молодые люди?

Мы сели за стол и впервые увидели, какой он возмутительно обшарпанный. Одной бутылки было до конфуза мало. Мы тянули, как могли, но разговор оседал и таял, как пивная пена. Дядя поднялся, просторным жестом обвел руками наш вертеп:

– Люблю студентов. Сейчас мы особенно охотно привлекаем к работе студентов-филологов. Надо дать простор молодежи.

Он выплыл в дверь, я кинулся искать в чемодане рубашку почище, чтобы его проводить. Виктор покрутил в руках пустую бутылку:

– Широкая натура твой дядя, милорд.

Представительный, габардиновый, монументальный дядя мой двигался среди людского потока, как океанский лайнер.

– Простите, девушка, – кивал он. – Разрешите побеспокоить. Виноват.

Я плелся сзади. Дядя подхватил меня под руку, завернул в тихий Волынский переулок.

– Что за народ в твоей комнате? – спросил он. – Вы что – кретины? Или вам хочется вылететь из института с волчьим билетом? Эти плакаты вверх ногами приведут вас на скамью подсудимых. Ты забыл, что у тебя больная мать? Я поговорю с администрацией, возможно, удастся перевести тебя в другую комнату.

– Я не разделяю вашего беспокойства.

– Сукин сын ты, а не племянник, – сказал дядя. – Не знаешь, в какое время живем?

– Время, мне кажется, ничего.

– Совсем дурак. Это всё мать. Она тебя испортила. Я уважаю, я боготворю свою сестру, она чудесная женщина. Но она не знает, что ты за фрукт. Если мать получит инфаркт, знай, – это из-за тебя.

– Простите. Я скорей всего действительно дурак, но я не понимаю, чего вы от меня хотите и за что вы меня ругаете.

– Ты знаком с кем-нибудь из преподавателей? – перебил меня дядя. – Ты узнавал об аспирантуре? Тебе непременно надо в аспирантуру. Лезь в любую, хоть по-санскриту. И, ради бога, молчи побольше, не связывайся с этими мальчишками. Оба хороши: один циник, другой – дурак. Сейчас же начинай писать серьезную работу. Выбери кого-нибудь из [illegible] лауреатов. Я подбе-

ру тебе литературу. Вот, скажем, Н. Мой хороший знакомый. Чудесный человек.

– Мы не признаем нынешних лауреатов. Знаем эти скороспелки! Мы с Виктором...

– Тише! С тобой невозможно разговаривать. Кто это – Виктор? Эта мартышка? С его шуточками он кончит тюрьмой.

Дядя оглянулся. Ни души не было в переулке.

– Пойдем отсюда. Стены имеют уши. И прошу тебя: о наших разговорах, о твоих, с позволения сказать, мыслях – никому ни слова. Одно неосторожное слово, и человека, – дядя нагнулся к моему уху, – человека нет. Пойми это, дурачок. Я тебе добра желаю. Никто тебе того не скажет, что родной дядя. Время сучье. Дышать нечем. Гадят на каждого. Будешь лопухом – загремишь в деревню и можешь гнить там до второго пришествия. Мы должны держаться вот так, – он показал крепко сжатый кулак.

Дядя снова быстро оглянулся через плечо, потрепал меня по затылку:

– Вот ты и обиделся. Думаешь, дядя – сивый мерин, сейчас будет подлости учить. Мальчишка! Думаешь, легко мне это говорить? Всякому орлом хочется. Пошуметь, права покачать, конституция, проституция... Ах, глупый. Конечно, лучше, чтобы ты сам стукнулся и понял. Я не тебя жалею. Мне мать жалко. Она надеется, ты человеком станешь. "Лауреаты – дерьмо, мы самые умные!" Дешевка!

Дядя сердился, но я чувствовал: он не хотел меня обидеть. Что-то другое, невысказанное, тревога, которую он не хотел назвать словами, мучала его. Он не давал мне рта раскрыть и все чего-то добивался от меня.

– И никому ни слова, – повторил он на прощанье. – Помни об аспирантуре. Тогда будешь фигура. А пока ты – ноль без палочки. Привет. Матери пиши почаще.

Х Х Х

Может быть, я бы не последовал дядиному совету держаться ближе к преподавателям, если бы не то свойство моего характера, которое толкало меня к сближению с людьми, которых я считал умными и значительными. Меня не беспокоило, хотят ли они

такого сближения. Грела надежда, что им со мной будет так же интересно, как мне – с ними.

Возможность поговорить "на высокую тему" влекла неудержимо. Хотелось облечь свои вопросы в достаточно изящную форму, которая уже сама по себе подчеркнет незаурядность моих интересов. Я любил каждого, кому мне удалось понравиться. И просто не мог жить и не нравиться.

В письмах домой я скрупулезно пересказывал, непременно в форме прямой речи, всякие мало-мальски лестные замечания преподавателей обо мне, как о студенте. Если, скажем, профессор, составивший себе имя на исследовании одного-единственного основополагающего произведения социалистического реализма, растрогался моим ответом на экзамене по этому самому произведению, с беглым, но учтивым упоминанием его труда, этот факт немедленно сообщался домой в подчеркнуто объективной манере, призванной одновременно подчеркнуть и мою скромность.

Особые хвалы воздавались в моих письмах Надежде Николаевне Калининой. Она чуть не с первой встречи выделила меня в группе. Прогулки до троллейбуса, когда я нес ее портфель, рассказывая, кто из студентов, чем интересен, превращались, как я писал маме, в "школу интеллектуального разговора", которой я страшно дорожил. Иногда я слегка запутывался, стремясь быть в своих суждениях точным и лаконичным, но Надежда Николаевна легонько брала меня под локоть, я каменел от значительности момента, и нужное слово слетало с языка само собой. О, это странное чувство превосходства и власти над сокурсниками, когда каждому из них с безупречной объективностью даешь характеристику перед любимым педагогом!

Первые впечатления о Надежде Николаевне в нашей группе резко расходились.

"Чудная!" – восклицали девушки.

"Кривляка!" – возражали другие.

"Пыль в глаза", – ворчал Ахмет.

"Старая дева", – говорил Виктор.

Надежда Николаевна говорила нараспев. Растолковывая нам Шекспира, она смотрела куда-то вдаль, над нашими головами, может быть, видя перед собой поединки на площади Вероны. Она ос-

талась после своей лекции и сказала приятным голосом:

– Одну минуту, друзья мои. Мне нужно сказать вам нечто важное. Мне поручено быть вашей наставницей. Дело не в названии. Мне совсем не хочется превратиться в старомодную надзирательницу с буклями или сухую классную руководительницу. Скажем так: я буду вашим агитатором, имея в виду тот первый, священный смысл этого слова, который в наши дни несколько потускнел от частого употребления в ином контексте. Я хочу узнать вас поближе. Пусть ваши интересы станут моими. То немногое, что удалось узнать и мне, возможно, будет полезно и вам. Познакомимся. Кто из вас умеет читать?

Мы с недоумением подняли руки. Виктор поднял позже других.

– А вы? – спросила его Надежда Николаевна.

– Я малограмотный, – сказал Виктор.

Все засмеялись, и Калинина оценила шутку:

– Ликбез, я надеюсь, вы пройдете самостоятельно?

– Ага! – сказал Виктор.

Он не давал Калининой настроиться, выбивал ее из мягкой, дружеской интонации, но Надежда Николаевна была выше таких штучек.

– Итак, вы все, за исключением одного товарища, овладели грамотой. Как же вы использовали ее? Вы прочли варианты "Евгения Онегина"? Как вам нравятся статьи Серова о музыке? Вы, кажется, любите бывать в Русском музее, – взглянула она на меня. – Не кажется ли вам, что экскурсия в заказник могла бы расширить наши представления?

Мы опускали глаза и невразумительно оправдывались. Мы вмиг осознали свое убожество. Мы готовы были немедленно ринуться из аудитории, чтобы наверстать упущенное.

– Бойтесь равнодушия, друзья мои, – говорила Калинина. – Идите в лектории и музеи. Изучайте город. Задайте хорошую работу своим глазам. Не полагайтесь на память. Расспрашивайте и записывайте. Я готова быть вашим незримым гидом.

Надежда Николаевна тактично расспрашивала о быте, о кухне. Я знаю аскетизм молодости, говорила она. Думается, что можно обойтись сухой булкой, а в 25 лет испорчен желудок. Но помните, друзья, общежитие засасывает. Начинается с того, что ло-

жишься в верхней одежде на кровать /Ахмет густо покраснел/, а кончается тем, что позволяешь себе пропустить неповторимый спектакль. Да, конечно, вы много читаете, и это хорошо, но помните: бывает и статья-событие, предисловие к книге, которое может перевернуть жизнь. Умейте найти в море культуры то, без чего завтра ваша жизнь станет неполной. Бойтесь суррогатов. Не разменивайтесь на мелочи. Читайте, как Рахметов, только самобытное. С самобытного чтения начинается жизнь мысли.

Наивность и близорукие глаза придавали Надежде Николаевне артистичность. Она пришла из иного мира, где читают Гегеля, где Шекспира узнают в подлиннике и где кастрюля, конечно, не проблема.

– А ты говоришь, хорошие преподаватели повыродились! – нападал я на Ахмета.

Но он крутил головой:

– Не то, ребята, не то.

– Розовое к розовому, – сказал Виктор. – Жаль, что милорд такой теленок. Дама еще могла бы тряхнуть стариной.

И все же, я решился сходить к Надежде Николаевне домой. У меня накопились кое-какие сомнения, и необходимо было поделиться ими. Да и сама Калинина говорила: "Будет время, товарищи, заходите ко мне домой. Запросто, без церемоний".

Что-то "не-то" началось уже с порога. Мне не предложили сесть. Я маялся у двери, и с черных "гадов" натекла на нежно-желтый паркет грязная лужа. Чернели гравюры на стенах. Между ними висели два портрета хозяйки, оба откровенно комплиментарные. Всё в комнате говорило, что здесь со вкусом живет одинокая женщина, и не все подробности обстановки предназначены для чужого глаза. Неприступно мерцали позолоченные переплеты энциклопедии. Я узнал их – Брокгауз и Эфрон. Как хотелось подойти к шкафу – рядом с книгами легко разговаривать. Подмигивала люстра. По спине у меня сбегали ручейки пота. Я хотел протереть очки, но вспомнил, что платок мой недостаточно респектабелен.

Надежда Николаевна сочувственно улыбалась.

– Да, – осторожно сказала она. – Когда-то и я была юной

стриженой комсомолкой, грубоватой, решительной. Мы бегали в Политехнический слушать Маяковского.

Нельзя же в самом деле слушать чужие воспоминания, переминаясь в собственной луже! Что-то мешало мне попросить тряпку и подтереть за собой, а Калинина как истинно воспитанный человек не замечала моего смущения. Скорей наружу, подальше от портретов, фарфора, краснощекой матрешки на расписном чайнике!

– Можно я зайду в другой раз?

Надежда Николаевна проводила меня до лестничной площадки с легкой грустной улыбкой. Я перетянулся через засыпанный снегом парапет Фонтанки и с огромным облегчением высморкался.

– Ну и штучка! – засмеялся Ахмет, когда я рассказал ему об оказанном мне приеме.

– Ах, какое разочарование! – вздохнул Виктор.

Как ни хотелось мне поскорее забыть свой злосчастный набег, Калинина сама рассказала о нем в группе.

– Мой милый визитер, – сказала она, – напомнил мне другой случай.

Поздней ночью, когда трамваи почти пусты, встретился ей юноша в рабочей одежде, с книгой в руках. Он углубился в чтение и не замечал остановок. Увидев рядом с собой интеллигентную женщину /Калинина позволяла себе милую слабость слегка обрисовать себя со стороны/, он обратился к ней, и волнуясь, как волнуются все молодые люди при внезапной откровенности перед незнакомой женщиной, рассказал, что учится в вечерней школе, увлекается стихами и товарищи говорят, что кое-что получается.

– Я любопытна. Я попросила его прочесть. Конечно, это были слабые, полудетские стихи, но мне запомнились строки, написанные с чувством. Подождите, вот они:

Не люблю я
Закрытые двери
И вопрос боязливый:
– Кто там?
Я открыт
в одинаковой мере
днем и ночью
чужим заботам.

Заходите!
Будем друзьями!
Да такими,
как будто с детства.
Мы же с вами
простые люди,
с непростым -
с человечьим сердцем.

Не будем спорить о качестве стихов, но задумайтесь о чувстве, которое их продиктовало. Я подумала: как много вокруг замечательных людей и как редко мы умеем их заметить.

Она перевела дух и внимательно нас оглядела:

- Иные молодые люди, хочу верить, что среди вас таких нет, ищут в нашей действительности одно дурное. Они сами злы и видят только зло. Мне жаль их. Преждевременные старички, они утратили самое дорогое - чувство прекрасного. Упыри, они боятся дневного света. Оглянитесь вокруг. Людей, как мой ночной незнакомец, - миллионы. Они создают новый строй души. С ними возможно все чудесное. Раскройте сердце доброму! Будь у меня немного больше времени, я бы хотела написать о моих встречах с молодыми, часто безымянными друзьями.

- Старушка-то с ядом, - сказал Виктор, взглянув на мое размягченное лицо. - Ишь, раскипелась. А стихи - дерьмо.

x x x

Практические занятия по текущей литературе ведет у нас доцент Платнов. "При нем остерегись", - остановил меня Виктор, когда я хотел спросить, что представляет собой писатель Бабель, о котором я вычитал в "Литературной энциклопедии".

Платнов - мужчина холерического темперамента. Для его лица у господа бога не хватило кожи, оно обтянуто так, что челюсти у нашего наставника выступают, как у черепа, который рисовали мамины "мазилки". Девушки так и называют Платнова - "Череп". При вопросе к нему Платнов резко подается вперед, забрасывает руку за спину, под расстегнутый пиджак, глаза его сверлят вопрошающего, и он быстро переспрашивает:

– Так, так, так! Повторите! Значит, вы утверждаете, что...

И формулирует ваш вопрос так, что хочется немедленно отказаться от собственной глупости. Виктор при Платнове тих и незаметен. Ахмет, слушая, густо краснеет, хочет возразить, но не решается.

Под руководством Платнова мы прорабатываем последние постановления по вопросам литературы и театра, кино и музыки: учимся давать беспощадный отпор всем проявлениям аполитичности, формализма и безыдейности. Сначала наша староста Галкина, а потом и другие девушки усвоили манеру Платнова фамилии и термины произносить с соответствующими эпитетами, чтобы получалось неразложимое словосочетание. Не просто Жданов, а "выдающийся теоретик марксизма Жданов", не теории РАППа, а "троцкистско-зиновьевская диверсия рапповцев", не сатира Зощенко, а "яд зоологической враждебности", не имажинисты и символисты, а "декаденты, прикрывающие свое идейное и моральное растление"..

Мы громим рапповцев, о которых впервые услышали от Платнова, поносим Зощенко, хотя то немногое, что мы успели у него прочесть, нам нравится; даем беспощадный отпор "полумонахине-полублуднице" Ахматовой, хотя знаем из ее лирики только одно прекрасное стихотворение о смуглом отроке, бродившем по аллеям Царскосельского парка. Шостаковича, создавшего сумбур, вместо музыки, мы изничтожили просто походя.

– Долг советской культуры, – говорим мы. – Советские писатели обязаны...

И говорим так уверенно, будто только мы, мальчишки и девчонки, единственные знаем, что должны и чего не должны делать писатели и деятели культуры.

Платнов – мыслитель широкого диапазона. Он не замыкается в рамки отечественной литературы, а ищет и находит разнообразные зарубежные аналогии. От него мы узнали, что Пристли, известный нам по одному детективно-психологическому роману с антифашистским уклоном, оказывается, заклятый враг нашей страны; что некий Сартр, о котором никто из нас ничего не слышал, "взят на вооружение империалистических армий не в меньшей степени, чем атомная бомба"; что Олдингтон, – кое-кто из нас успел прочесть его роман "Смерть героя", – "факельщик империализ-

ма и поджигатель новой войны".

Платнов любит нам давать то, что он сам называет "предметным уроком". Скажем, берется стихотворение о мальчике, грезившем о героизме и увидевшем войну на самом деле.

До войны он думал о войне так:

Скачут белые кони
По уличке зыбкой.
Взглядом женщины их
Провожают с тоской.
А бойцы на скаку умирают
С улыбкой,
И живые завидуют
Смерти такой...

Но война предстала иной, чем ее видел подросток:

Оказалась война
Некрасивой и грязной,
Вшивой, мокрой, холодной,
Сожженной до пней.
И на этой войне
Я не видел ни разу
Ни в конце, ни в начале
Тех белых коней.

- Нравятся вам эти стихи? - с вызовом спрашивал Платнов.

Я чуть было не сказал "да" и хотел объяснить, почему, но Виктор опять удержал меня.

- Вот она, зараза обывательщины, - сказал Платнов. - Так проникает в литературу ползучий эмпиризм. Надо быть слепым кротом, чтобы разглядеть на войне только грязь и вшей и не увидеть мужества и героизма, благородных и бессмертных подвигов... Автор этого стихотворения подошел к теме с абстрактных, пацифистских позиций, он забыл о справедливом, освободительном характере войны, которую вел и выиграл наш народ. Советский писатель призван учить свой народ и другие народы новой морали. А чему могут научить эти слюнтяйские и убогие вирши?

Меня пугал такой подход к литературе. В конце концов, овладеть платновской фразеологией несложно, она доступна даже самым робким девочкам нашей группы. Но сквозь такие словеса, как рыба сквозь рваную сеть, уходила куда-то в глубины большая литература.

- Живой еще, сэр? - спрашивал Виктор после занятий. - Ну, и не рыпайся.

- Как ты относишься к существу его суждений? - все спрашивал я Виктора о Платнове. - Ведь он не прав. Разве можно всё сводить к зубодробительным терминам!

- Опасная скотина, что и говорить, - соглашался Виктор.

И больше не прибавлял ни слова.

Меня сердило, что Виктор мне не доверяет, не верит, что я всерьез хочу разобраться в литературе и искусстве. В книжном магазине я недоумевал, когда он выуживал для себя что-то интересное в отделе старой книги:

- Кого ты покупаешь? Формалистов, упадочников...

- Милый юноша, - отвечал он, - покупайте Исаковского. Загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда! Гудите, действуйте! Или вот, рекомендую, - добавил он, когда мы проходили мимо отдела медицинской литературы, - "Как уберечься от сифилиса". Здесь есть всё, что не отважилась сказать сыночку мама. Исключительно полезно.

Я действительно нацеливался на эту брошюрку, но теперь сразу ее возненавидел. Неужели последнее слово всегда останется за Виктором? На лекции он не ходит, покупает непопулярных авторов, к общественной работе относится с насмешечкой. Звали его пойти вместе с группой в Эрмитаж, а он сказал:

- Неловко познавать Венеру скопом. Лучше одному.

Предложили сотрудничать в отделе юмора нашей факультетской газеты, где подвизался я, приобретя уже, как мне казалось, на этом поприще определенную популярность, а он написал такой стишок:

Романтические розы,
Романтические грезы
Стынут, вянут на морозе
И струятся тихо слезы.
Тру-ля-ля!

– Опубликуй, сатирик! Рисунок можешь придумать сам.

Когда мы с гордостью вывешиваем новый номер, неся его за все четыре конца, как гроб с почетным прахом, Виктор подходит к номеру первым, читает с каменным лицом плоды моих усилий и говорит по-профессорски покашливая:

– Удивительно смешно, батенька...

Втайне я не терял надежды подстеречь Виктора, заставить его проговориться. Когда-нибудь мы схватимся с ним в открытом диспуте, я обнажу перед всеми его холодную и циничную душу, может быть, даже напишу письмо в "Комсомолку". У меня и название сложилось блестящее: "Не подать руки".

Я подступался к Виктору с разных сторон, подсунул ему свою тетрадь для цитат: что он запишет? Виктор отшучивался, а потом написал: "Клопы только на том основании и могут жить счастливо, что не догадываются о своем запахе".

– Герцен, – сказал он невинно. – "Былое и думы". Страница 710.

– Это ты обо мне?

– Нет, это он о клопах.

Я посмотрел на его бледное лицо, запавшие щеки, круги под глазами. Вспомнил слова Калинина о точке и кочке зрения. Действительно, упырь!

"Гнилой тип, этот Виктор, – писал я маме. – Ему надо дать по морде, но я сдерживаюсь: ведь я сильнее его. Как смеет он надо всем смеяться! Он наблюдатель, а надо уметь строить".

"На Викторе, сыночка, сказывается влияние Прибалтики, – отвечала мне мама. – Не вступай с ним в споры, держись от него подальше." И мама продолжала: "Наша молодежь хорошая, но, к сожалению, ей так легко живется, что она уверена: советская власть существует только для нее. И это часто порождает не совсем здоровые настроения". И далее в качестве примера мама писала об одном пошляке из класса, где я учился, который уже успел сменить два института и тянет из родительского кармана немалые деньги.

Я не понял, какая связь между Витькой, который не пил, не курил, ел очень мало, все деньги тратил на книги и учился

лучше всех в группе, – и парнем, упомянутым в качестве негативного примера.

– Прав, Витек, во всем прав, – твердит Ахмет. – А ты – карась, у Щедрина который.

х х х

Вопросы сцеплялись, вытаскивали за собой другие, и я метался, почти незримо увешанный ими, так деревенские мальчишки вешают на себя гирлянды из чертополоха. Со всех сторон я слышал: "наивняк", "мальчишка", "зелень" – и тужился понять, что именно во мне осуждают.

Меня и самого настораживало, что, споря с Ахметом или Виктором, я невольно оказываюсь в одном стане с Платновым, разве что словарь мой менее свирен. Черствость и желание пленить нас, как ржавые пружины, рвали узорную ткань красивых слов Калининой. Ланин был простодушен и глуп, и над его смелыми сближениями фольклорных мотивов с современностью не смеялась на курсе одна только староста Галкина.

Но эти редкие мои прорывы в понимание не давали никакой определенности, не складывались в систему и, вчера рассуждавший здраво, сегодня я готов был расшибиться в лепешку, лишь бы попасть на одну фотографию с писательницей, пришедшей в наш дискуссионный клуб. А Виктор даже не пошел на встречу, которую мы ждали целую неделю, и, видя, какими взглядами он сопровождает мою суету и хлопоты вокруг визита знаменитости, я готов был возненавидеть собственную восторженность.

Клуб института, куда приглашали многих известных писателей, в письмах домой я называл своим университетом. Сначала я хмелел от одной мысли, что можно во плоти увидеть того, чьи книги читал, даже задать ему вопрос, оказаться с ним рядом, когда все соберутся вокруг него эффектной фотографической группой. Всё, что бы они ни говорили, казалось мне откровением. Пропустить такую встречу мне казалось таким же невозможным, как если бы я вдруг не порадовался редкому ленинградскому солнцу. Стоило появиться первым афишам, извещающим о предстоящей встрече, как я уже лихорадочно обдумывал, какую рубашку почище припасти на этот случай, предупреждал всех, что в

такой-то вечер я буду занят, покупал удобный блокнот, чтобы успеть записать все ценное, что нам откроется. Все выступавшие у нас казались мне "хорошими и разными". От благоговейного внимания, с каким я слушал каждого, у меня порой слеза накатывала.

Одним из первых я увидел и услышал Степана Петровича Щипачева. Наши девочки переписывали его стихи. Кто не знал знаменитых строк: "Любовью дорожить умейте!" Вот запись моих тогдашних впечатлений:

"12 февраля 1952 года.

"Рукою волосы поправлю, иду, как прежде, молодой", - эта строчка к нему идет. Стройный в свои 50 лет, в строгом и красивом синем костюме, совершенно серебряный. Седая голова не старит, а молодит его загорелое лицо. Сочетание мужественности и застенчивости. Мягкость, скромность, что-то мило деревенское в языке. От него веет свежестью, полем, тихим вечером, хорошей, без вызова, интеллигентностью.

Когда он читал свои стихи, а он больше читал, чем рассказывал, то делал это так естественно, как будто строчки родились только что и вот сейчас тихо, с небольшой запинкой, с легким оканьем спускаются к нам. Человек, в котором нет ничего случайного, лишнего, кричащего. Чистый, простой и глубокий, как его стихи. Я увидел его и поверил его строкам. Просто забываешь, что на свете есть цинизм".

В этом духе я высказался и перед Виктором. А он в ответ прочитал чью-то пародию на Щипачева:

"Всё сердцу любо. Всё ласкает взор.
Я воздуха хочу. Я выхожу во двор.
Вот сушится бельишко на веревке.
Вот воробей чирикнул. Сколько в нем сноровки!
Каким все кажется приветливым и милым,
Как хорошо, что есть торговля мылом!

И "птичка божия", как назвал Щипачева Виктор, слиняла прямо на глазах.

X X X

Я приносил свои тревоги Римме.

От нее исходило что-то мягкое, обволакивающее. Стиралась острота непонятного, приходила расслабленность и бездумность. Если же я слишком настойчиво требовал ответа на нечто, по ее мнению слишком отвлеченное, она сердилась:

- Постарайся жить просто, умоляю тебя, - говорила Римма.- Такой ласковый вечер сегодня, а ты опять со своими поисками.

Она подчеркнула последнее слово, оно ей казалось фальшивым.

- Платнов - сволочь, это ясно всем, кроме тебя, - говорила она. - Повтори, что от тебя хотят, и забудь о нем. Какое тебе дело до этой свистопляски! Сегодня кого-то кидают в грязь, завтра его возносят до небес, ты хочешь не отстать от той и другой кампании и остаться честным. Это же невозможно! Либо живи зигзагом, подобно линии, либо плюнь, забудь про все это. Ты же любишь античку - и читай себе на здоровье Овидия.

- А что мы будем говорить детям в школе?

- В школе мы будем говорить о Пушкине. Никто, кроме тебя, различий между "Поднятой целиной" и "Брусками" близко к сердцу не принимает. И "Что делать?" им так же скучно читать, как и "Мать".

- Но должны же мы иметь мировоззрение, цельный взгляд!

- Мировоззрение и всякие постановления - совершенно разные вещи. Постановления предписывают очередной погром хороших писателей. Что ж ты, хочешь быть погромщиком по убеждению? Вон послушай нашего Друзина. Он говорит, что Есенин - певец пьянства и хулиганства, что Ильф и Петров - мелкие злопыхатели, а писателя Бабеля в советской литературе не было. Хочешь быть, как Друзин? И тоже будешь гордиться, что читаешь лекции без всяких шпаргалок, легко подчиняя прихоти своей памяти требованиям момента?

- Ты не видишь в нашей идеологии ничего положительного!

- Она слишком резиновая, чтобы в ней что-нибудь понять, уверяю тебя. Ты говоришь: Витька - гнилой тип и прочую гадость. А он ведь не над всеми смеется, а только над тобой. И то, когда ты этого заслуживаешь. Почему он должен рукоплескать всякому мордобою? Он из тебя человека хочет сделать, а

ты готов применить к нему административные меры. Разве можно быть таким? Слишком ты любишь слова. И крашеную куклу Калинину ты полюбил за то, что у нее много слов.

– Ты признаешь партийность как человеческую позицию?

– Я женщина, милый. Моя позиция – понимание и сострадание. А ты рассуждаешь, как готовый парторг. Дай тебе коллектив, ты там быстро наведешь порядок. Этого выкинешь, того осудишь, третьего обуздаешь. Люди не состоят из одних идей, тем более, таких подозрительных по качеству. А ты хочешь идеологизировать всю жизнь. Тебе плевать на человеческие качества, лишь бы встретить идеи, к которым можно присоединиться. Представляю, какой ты будешь учитель! Всех учеников передавишь.

– Что ж ты со мной дружишь, если я такой деспот? И дружила бы с Витькой.

– Дурачок. В тебе есть много хорошего, но ты никак не можешь отделаться от привычки всё объяснять. И о каждой книжке рассуждаешь, как за кафедрой. Мне кажется, ты даже жалеешь, что я одна тебя слушаю. Тебе бы хотелось, чтоб слушателей было больше, целая аудитория. Разве книга ценна тем, что открывает новое? Её ценишь, потому что видишь: всё, что в ней, уже было в тебе. Ты это знал, ты это пережил, а она – только напомнила и оформила. Там лучше об этом сказано, чем в твоем сознании. Интеллигентные люди могут молчать сутками.

– А я, значит, не интеллигентен?

– Почему же? Внешне – вполне. Очки, слова, жесты, в книжный ходишь. Только этого мало. Интеллигентность – это, наверное, повышенное ощущение банальности. А ты от любой банальности пьянеешь. Написал ерунду по идиоту Мальцеву и воображаешь, что создал научный труд. А какой-нибудь туземец повесит тряпочку на столб и думает, что это – тотем, святое место.

Почему ты так благоговеешь перед печатным текстом? Посмотри на наших докторов. Касторскому не лень двадцать лет возиться с романом "Мать" и вымскивать в нем всё новые совершенства. Ланин уже через год будет профессором со своими частушками и былинами о Разине. Но ведь это очевидная фигня. А ты готов рассуждать с ним о проблемах истории. И рассуждал бы, если б не Ахмет. Ты какой-то партийный и чересчур жадный. На всех

кидаешься, у всех всё выспрашиваешь. И так боишься, что другой не узнает то, что знаешь ты.

– Ты меня презираешь! – говорил я и замолкал.

.....

х х х

В слепой, без окон, комнатушке факультета рождалось наше "Слово". Газету склеивали из шести ватманских листов, и, огромная, как простыня для двуспальной кровати, она занимала четыре стола. За неделю до выпуска по ней ползали художницы, и авторы заметок протискивались между стенами и обтянутыми задиками. Стучала машинка. Дым ел глаза. Все ходили заляпанные пятнами гуаши. Из крика, шума, ругани и смеха появлялось на свет трехметровое детище, и его внутреннее содержание знала до конца только редактор – прелестная молодая женщина с кафедры советской литературы. Художницы никогда не читали заметок, корректоры заботились лишь об искоренении ошибок, а секретарши деканата умоляли отстукать запоздавшие материалы, не задумываясь над проблематикой, рождавшейся на свет из-под их пальчиков.

В этот день все стало другим. Газету сделали быстро, строго, без пестроты. Газета была траурной.

На следующий день, 6 марта 1953 года, из комнатушки вынесли всё. Исчезли кисти и краски. Впервые за семестр подмели и вымыли пол, оттерли раковину и затянули ее кумачом, сняли со стен изречения, созданные редколлегией для личного употребления. Никто больше не торопился, не острил, не врывался с гениальной идеей. Стены затянули красно-черным. На красном постаменте стоял белый бюст ВГО.

Мы не решались назвать его по имени. Через каждые пятнадцать минут сменялся у белой головы почетный караул. Я стоял навытяжку, не дрогнув, и в голове билось: "Сталин с нами, дело мира непобедимо... Но ведь теперь его нет"...

– Что, будет война? – спрашивал я, но от меня отмахивались.

Я упирался лбом в холодное коридорное стекло, ощущая за спиной притихший факультет. Сходились колодцем бурые стены. Зеленые, в потеках времени стены, безнадежные, как и сто лет назад. Черные ветви хлестали воздух, как будто осинам, как и мне,

хотелось сорваться и полететь, как будто можно что-то изменить, поправить.

Странно, какими досадными делает смерть привычные движения жизни. Неужели можно по-прежнему сидеть на лекциях, на перерывах, как это делают наши девочки, заботиться о своей прическе, волноваться из-за пропавшего конспекта? Почему смерть не отменяет суету, почему не все в эти дни могут быть собранными и молчаливыми? Продавщица спрашивает: "Вам нарезать или куском?" – и ее легко возненавидеть за вопросы, легкомысленную наколку на голове, за румянец.

– Выпьем за покойничка, – предложил Ахмет, и я поморщился от пошлости.

– Не чешись, – сказал Виктор Ахмету, – видишь, человек переживает.

Чувство огромной неловкости и беспомощности. Невозможно сделать шаг, сказать слово, чтобы они не показались слишком громкими и неуместными. Страна осиротела, и я понял, как она близка, как подступает к сердцу тревога за нее. Какой жертвы она хочет, чтобы ей стало легче? Мне ничего не трудно.

У репродукторов, в тумане, теснились люди. Музыка и снег. Разрывающие сердце мелодии и снег, косой, летящий, который забывали смахнуть с лица. На улицах смерть отодвинула будни. Многие говорили:

– Едем в Москву. Нужно попрощаться.

На Московский вокзал не пробиться. Все подступы заставлены грузовиками, перекрыты конной милицией. В вагоны вдавливались с тихой и злой руганью, ожесточенно и молча продирались в тамбур. Кто-то из знакомых вырвался из города на подножке. До Красной площади он не дошел. Черная и угрюмая Москва волновалась и напирала на всех улицах, ведущих к центру. Лошади фыркали на людей. Народ густился так плотно, что катастрофа висела в воздухе. Знакомый уверял, что иных женщин и детей затоптали в давке. /Много лет спустя, читая неизданную у нас "Автобиографию" Евтушенко, я снова вспомнил эти рассказы/.

И в Ленинграде, на Дворцовой площади, меня стиснули так, что перехватило дыхание. В мутном воздухе падали на спины и

непокрытые головы слова, произнесенные с сильным акцентом:

– Враги советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата поведет к разброду и растерянности в наших рядах. Но напрасны их расчеты... Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни... Кто не слеп, тот видит... скорбные дни... еще теснее сплотились...

Так говорил Лаврентий Павлович Берия.

– Мы по праву можем гордиться тем, что последние тридцать лет жили и работали под руководством товарища Сталина. Мы – ученики Сталина. И мы до последних дней будем помнить, чему учил нас Сталин.

Так говорил Вячеслав Михайлович Молотов.

"С великим доверием и одобрением", – как писал Анатолий Софронов, слушали мы речь Председателя Совета Министров и Секретаря ЦК товарища Маленкова. Новое понимание сатиры, сформулированное товарищем Маленковым, немедленно вошло в наши лекционные курсы и студенческие доклады.

– Учить массы и учиться у масс, – писал Борис Полевой,– это сталинский стиль руководства. Ведя гигантскую работу, масштабы которой трудно обнять обычным человеческим умом... Каждый советский человек, выдвинувший что-то ценное и передовое, всегда находил у него поддержку...

Мы разворачивали сырые, тяжелые газеты. Мы видели траурные фотографии. Обитый шелком гроб с маршальской фуражкой на крышке несли плотные мужчины в длинных пальто и широких брюках. Мы узнавали их в лицо: первым слева шел Берия, первым справа – Маленков.

Мы сплачивались и крепили единство вокруг них,

х х х

Три с половиной года прошло с тех пор, как я поступил в институт, и это время слегка изменило меня. Большое изменение, по крайней мере, в анкетных данных, состояло в том, что я, при энергичном мамином содействии, женился на одной хабаровской девушке, с которой встретился в Одессе. Знал я ее в общей сложности до брака меньше месяца. То, что девушкой ее

можно было назвать с некоторым допущением, и то, что не знал я вовсе, выяснилось задним числом и значительно позже. Пока же я довершал свое образование в Ленинграде, а она училась в Хабаровске и для большинства девушек института внешне во мне ничего не изменилось. Из непонятных соображений из брака своего я делал страшную тайну.

Малое же изменение состояло в том, что, постигнув "тайны брачныя постели", я вдруг с необыкновенным апломбом зарассуждал вслух о взаимоотношениях полов. Теперь при виде девушек я считал делом доблести сострить с упоминанием предметов женского туалета. Ведь теперь я знал достоверно, что все мы ходим голые под своим платьем, и мне до зуда не терпелось продемонстрировать свою осведомленность.

Девушки всплескивали руками: "Откуда ты такого набрался?", - а Надя Чухмина, которая, как и я, собиралась в аспирантуру, сказала примирительно:

- Чему вы удивляетесь, девчонки? Юноша становится мужчиной.

Так называлась брошюра, которую девушки по секрету от нас, троих молодых людей в группе, давали почитать друг другу. Это свежее медицинское пособие отличалось тем, что в нем, помимо сведений, допускавшихся к обнародованию и прежде, сквозила подспудная мысль о том, что даже в нашей стране из юношей вырастают со временем не только хорошие специалисты, но и мужчины с их мужскими особенностями. Взгляд на человека, который ~~[illegible]~~ отныне не исчерпывался понятием "хороший специалист", был такой же приметой времени, как и стихи Евгения Евтушенко, о которых первым среди нас заговорил Виктор.

Когда я, ободренный этой брошюрой и характером собственных пошлостей, слегка притиснул Надю Чухмину, в ее реакции в наилучшей пропорции слились неподдельное волнение и товарищеская заинтересованность, ибо мы собирались поступать на разные кафедры и каждый мог помочь другому на неведомом поле. Обижаться в этой ситуации на несвоевременную игру инстинктов было бы просто мещанством. Надя была уверена, что я - пройду в аспирантуру, а она - ни за что. Я уверял ее в обратном, и, выйдя на свет божий из нашего убежища, мы уже живо

обсуждали, что такое реферат и чем он отличается от обыкновенной курсовой работы.

Было известно, что в реферате для аспирантуры следует обнаружить самостоятельность мышления, но в чем состоит самостоятельность, было вовсе неизвестно, хотя я уже второй год руководил в качестве старосты кружком зарубежной литературы, а Надя свершала то же самое на ниве русской литературы. Нас хвалили на студенческих конференциях, у обоих исподволь доверенные лица руководства выспрашивали наши анкетные данные, и мы с облегчением могли убедиться, что наши родители сделали для будущих научных работников самое ценное – передали своим детям незапятнанную репутацию. И дети собирались поднять фамильную честь еще выше, карабкаясь по каменистым тропам науки. Вопрос о рекомендации в аспирантуру Виктора был давно уже делом решенным.

Виктор, Надя и я окружены в группе невидимым свечением вокруг наших голов. Мы совершили уже немало выходов в Публичку на Садовой, в этот рассадник учености и инкубатор диссертаций. Там, согласно разрешению, выданному учебной частью, мы спрашивали книги, до которых еще не добрались остальные студенты. Мы научились особым тоном произносить новое слово: "библиография".

Виктор ко мне подобрел. После каникул, которые я провел в городке Ахмета, смешно было цапаться по "рабоче-крестьянскому вопросу", смешно было всерьез горячиться из-за книжек о современной деревне. Литература и жизнь не просто частично не совпадали. Это были две планеты, вращающиеся по разным орбитам.

Исключением Виктор считал роман Эренбурга "Оттепель". После его доклада о романе начался перелом к лучшему в наших отношениях.

X X X

Добиться того, чтобы Виктор смог прочитать свой доклад перед нашей учебной группой, было нелегко. Наш куратор Надежда Николаевна Калинина была против. Она говорила, что в книге есть дурной публицистический привкус, скептицизм, которым

всегда бравировал почтенный писатель, а художественных достоинств в романе нет.

– Обсуждение может иметь налет ненужной сенсационности,– говорила Надежда Николаевна.

Вместо "Оттепели" она предлагала обсудить новый балет. Однако Виктор настоял на своем. Он не читал по тетрадке, а говорил, довольно близко держась написанного текста. Лицо Калининой шло пятнами.

– Вместо того, чтобы баловать читателя сладкой конфетой,– говорил Виктор, – а литература, кстати сказать, не карамельный цех, новый роман Эренбурга предлагает нам возбуждающее средство, усиливающее сердцебиение и работу мозга...

– Скажите лучше – шпанскую мушку, – вставила Калинина.

– Критика требует от писателей сложности, многогранности и прочих почтенных качеств, – продолжал Виктор. – Ей предложили то, что она просит, и раздался крик: разбой, пожар, туман, серый фон! Представьте ей сложность, она скажет – это раздробленность и пестрота! Дайте ей думающего человека – она назовет его скептиком. Покажите правду – она закричит: поклеп на действительность! И тогда начинается разнос, не взирая на лица и другие части туалета...

– Прекратите, – сказала Надежда Николаевна. – Вы в аудитории, а не в кабаке.

– Я думаю, – заметил Виктор, – что в аудитории все говорят по порядку. Сначала один говорит, потом другой. Мило, последовательно...

– Пусть говорит! – закричали наши девушки. А Надя Чухмина прибавила:

– Надо же хоть раз дать человеку возможность сказать то, что он думает.

– Но разве этому нас учили? – спросила староста Галкина, единственное существо в группе, не знавшее антипатии к занятиям Платнова.

И вышел один из тех бесчисленных споров, которыми открывалась новая эпоха. В этих спорах я был без колебаний на стороне "гнилого типа из Прибалтики". И этот переход был самым значительным итогом трех с половиной лет. Куда более значи-

тельным, чем женитьба, тем более, что по окончании института мне удалось, не встречаясь с собственной женой, развестись с нею.

х х х

Другим литературным явлением, затронувшим не менее сильно, чем "Оттепель", но на более долгий срок, стали стихи Евгения Евтушенко. Те его стихи, с которых в 1955 году началась долгая и жестокая полемика о нем в печати, были для нас откровением. Я не мог точнее выразить собственное отношение к жизни, чем его многократно руганные строки. Десять лет его превозносили и низвергали, а мы спешили сообщить друг другу о новых его публикациях, отдавали лучшие книги за его сборники, и были уверены, что он говорит о нас и за нас.

То ли мы и он одинаково медленно взрослели, а, может быть, общие особенности воспитания обрекли нас на пожизненный инфантилизм сознания, то ли эпоха громогласия, в какую мы выросли, отучила нас от понимания поэзии настолько, что фельетонный гнев мы принимали за жажду правды, а то, что пресса называла "заголением мелкой и дряблой душонки", казалось нам значительным, как исповедь, - как бы то ни было, его стихи сопровождали меня, как и всех, с кем жил я рядом в провинции, и не было голоса, к которому мы прислушивались бы больше.

Евтушенко стал нашим внезапно опубликованным дневником. Благодаря ему, мы начинали вслух говорить то, о чем думали молча. Он давал право на публичное обсуждение мучавших нас вопросов. И когда общественное мнение отвергало его, оно отвергало и нас. Ни в чем другом не сказалось так сильно несовпадение между нами и общепринятыми взглядами, как в его литературной судьбе примерно до 1962 года. Мы внимательно читали его гонителей и лучше понимали, с кем нам не по пути.

Одно его стихотворение "В пальто зимнем"... я услышал от Виктора незадолго до получения учительского диплома и понимал его как напутствие. В этих стихах для меня выразилась вся накопившаяся жажда обновления и наивная уверенность, что обновление неизменно будет.

Его умело отводили
от наболевших "почему".
Усердно критики твердили
о бесконфликтности ему.
Он был заверен ложью веской
в предельной гладкости пути,
но череда несоответсвий
могла к безверью привести.
Он устоял.
Он глаз не прятал.
Он не забудет ничего.
Заклятый враг его –
неправда,
и ей не скрыться от него.
Втираясь к людям, как родная,
она украдкой гнет свое,
большую правду подменяя
игрой постыдною в нее.
Клеймит людей судом суровым.
Вздувает, глядя на листок,
перенасыщенный сиропом
свой газированный восторг.
Ей все труднее с каждым годом.
Не скроют ложь и виражи
того, что создано народом
во имя правды, а не лжи.
Ее уловки и улыбки,
ее искательность и прыть
для парня этого –
улики,
чтобы лицо ее открыть.

Надо полагать, поэт, как и мы, не догадывался, что силы, с которыми нам предстоит столкнуться, куда устойчивее и неподвижнее, чем казалось нам на пороге самостоятельности.

х х х

Как в свое время, когда я уезжал в институт, мама ради живота моего расставляла встречающих меня родственников по всей долгой дороге до Ленинграда, так и сейчас, за два-три месяца до того, как ее сын получит диплом, она изыскивала по городам Дальнего Востока всю близкую и далекую родню, которая могла бы мне помочь в устройстве на работу. Были освежены все полузабытые родственные связи и таким образом установлено, что женщина, квартиру которой снимал мой московский дядя, приходится родственницей одному влиятельному человеку в Комсомольском-на-Амуре техникуме. В письме мама излагала, как именно мне следует установить контакт с Клавдией Степановной, чтобы это аукнулось за тысячи километров самым благоприятным образом.

.....

С тех пор, как скромная обитель Клавдии Степановны наполнилась дядей с его внушительными интонациями, уникальной библиотекой /каждая вторая книжка - с автографом автора/, с его забавными рисуночками в туалете, в квартире появились жилой запах, звук, уверенность и множество небольших, но прелестных усовершенствований, окончательно изгнавших печать вдовства и одиночества, какой мечены были прежде и слишком частые накидочки на подушках, и до оторопи ухоженный пол. /.../

Клавдия Степановна умела быть совершенно незаметной, и я, погруженный в думы о своей семейной жизни и своем будущем, даже не сразу ее разглядел. Но пришел час, когда мы остались одни, и я, собравшись с духом, изложил ей мамину просьбу, точно следуя при этом не только сути, но и форме. Всё уладилось значительно проще, чем я предполагал, и мы разговорились. Эта [redacted] незаметная женщина показалась мне такой интересной собеседницей, что я уже ждал, когда дядя со своим сыном уйдут из дома, чтобы вывалить новую кучу вопросов.

- Понимаете, - сказал я ей однажды, - никто из взрослых не хочет говорить с нами честно. На нас цыкают или убеждают в общеизвестном. Не смейтесь наивности моего вопроса, но, скажите, пожалуйста, какая у нас жизнь, на ваш взгляд? Хорошая или плохая? И каких людей больше, хороших или плохих? Вот

мой папа – очень честный, никогда копейки государственной не присвоил. Но то, что он пишет в свою газету, по-моему, никому не нужно. Один мой товарищ говорит, что наша пресса отражает жизнь, как в известной мексиканской гравюре: художник видит повешенного, а пишет пейзаж. Вы понимаете, о чем я говорю? /.../ Клавдия Степановна поднялась, положила мимоходом подушку на телефон, проверила, плотно ли прикрыты двери.

– Давайте договоримся. То, что вы услышите, пусть останется между нами. Не надо обсуждать этого ни с кем. Даже с вашими друзьями.

Уверяю вас: в вашей группе непременно есть человек, который слушает и запоминает всё, что вы говорите. Он может принести вам огромный, непоправимый вред. На всю жизнь. Стукачи есть везде. Вред, наносимый ими, неизлечим, как проказа, и передается по наследству. Вас запачкают один раз, а не отмоетесь вы до конца жизни.. Перестаньте делать большие глаза, или я замолчу.

У меня есть основания так говорить. Мы выросли в особое время. Тридцать седьмой год – время нашей молодости. Вот тогда-то мы и научились молчать, а позже, в 49-ом и 52-ом радовались, что научились. Нас отравила подозрительность. Неосторожное слово – и человек исчезал бесследно. Так, наверное, исчез и ваш родной отец...

... Каждую ночь забирали кого-то. Никакой закономерности в арестах не было. Могли взять тишайшего и скромнейшего человека, прекрасного работника, а болтун, анекдотчик спокойно разгуливал на свободе. Слова привета и участия потеряли смысл. Словами пользовались с одной целью: скрыть, во что бы то ни стало скрыть свои подлинные мысли.

Живые люди молчали и громоздили целые глыбы молчания. Бесконечное одиночество владело каждым. Брат не доверял сестре. Отец боялся сына. Дочь избегала открыться матери. Даже дома, плотно закрыв двери, накрывшись с головой одеялом, муж не решался высказать жене то, что думал. Но если б можно было просто молчать!

От нас ждали не сомкнутых губ, не молчаливой покорности.

От интеллигенции требовали песен и речей. Мы клеймили позором тех, кого знали, как хороших людей, или не знали вовсе. Воспитывали в себе плохую память, чтобы не помнить сегодня то, что говорили вчера. Боялись держать дома книги, выпущенные нашими издательствами. Нас бросало в дрожь, стоило вспомнить, что в книге классика есть предисловие осужденного критика или литературоведа. Целые издания шли под нож, едва увидев свет. Мы отрекались не только от книг. Мы публично отрекались и от друзей, чтобы сберечь свою шкуру.

В нас вытравляли всякие остатки личности, превращали в одну огромную, слепую и орущую массу. Самое чудовищное: мы считали, что так и нужно. Мы говорили друг другу об осужденных: "это скрытый кулак", "это замаскированный классовый враг" - и боялись задуматься, почему вдруг так много "вредителей" или "агентов международной разведки" оказалось в стенах одного учреждения, где люди давно знают друг друга. Мы объясняли детям, что "обострение классовой борьбы на данном этапе неизбежно".

В школе мы говорили: поэт прав - жизнь прекрасна и удивительна. Автор этих строк был талантливейшим идеалистом. Пуля спасла его от духовного самоубийства. Он никогда бы не смог понять и принять того, что надвигалось. Мы говорили детям: челюскинцы, папанинцы, чкаловский перелет в Америку, покорение стратосферы, первые сельскохозяйственные выставки. Нам есть чем гордиться! /.../

Недавно умерла одна моя знакомая, человек безупречной общественной репутации. Ее провожали с двумя оркестрами. На кладбище возник самый настоящий митинг, кто-то даже назвал её"великой.".

Умирала она тяжело. Три ночи я провела у ее постели и слушала предсмертный бред. Надо признаться, я ее раньше недолюбливала. Даже за преферансом она считала нужным похвалить последние постановления. На смертном одре, как говорится, я увидела другого человека. Из нее вырвалось наружу всё, что она подавляла в себе, загоняла внутрь. "Объясните мне дело врачей!" - кричала она. - Если христианин совершит ошибку, виноват он один, а если еврей - виноваты все евреи"... Ох,

натерпелась я страху. Я зажимала ей рот, боялась войдет санитарка. Мы даже обсуждали, не взять ли ее домой. Она ведь умирала: ей хорошо, но она могла погубить мужа, детей. Всё обошлось... И только на кладбище я поняла, как ей было тяжело. Мы могли собираться, отвести душу в своем убогом углу, а она столько лет носила всё в себе одна. Мужественная женщина. За всю жизнь никогда, нигде, ни в чем не проговорилась. Поверьте, ложь - главная причина учительской гипертонии.

... В чем состоит крамола, мы не знали ни тогда, ни сейчас. Почему исчез Мандельштам? Ведь он никогда не писал политических стихов. Это был сугубо книжный человек, дантолог. Почему уморили голодом в Елабуге Цветаеву? Ведь она сама, добровольно покинула "буржуазный мир" ради новой России. Крамолой мог оказаться анекдот - это ещё понятно. Но крамолой мог стать и лозунг, повторяемый вчера всеми, ссылка на имя, вдруг переставшее быть авторитетным. Я изучала работы Марра, а вы как лингвист выросли на его избиении. Опасной могла оказаться статья, за которую вчера человека хвалили, журнал, "скатившийся на неверные позиции", диспут, в котором вы приняли участие, пустяк, который говоришь, не думая.

Не было и нет такой идеи, за которую можно ухватиться безусловно. Завтра та же цитата, что навязла на зубах, будет считаться в корне ошибочной, а послезавтра вы не избежите крупных неприятностей, если не присягнете на той же самой цитате...

... Мы живем в стране, которую невозможно понять рационально. Поистине - "умом Россию не понять". Никакой логики в нашей духовной жизни нет и быть не может. При жизни Макаренко затравили, потом его подняли на щит, потом раздались голоса, что его критики правы, и так - до бесконечности. По-моему, нет ни одного классического советского романа, от "Чапаева" до "Молодой гвардии", который бы при первой публикации не встретил сопротивления критики. Но не все же могут, как Панферов или Фадеев, послушно вписывать новые страницы.

Единственная способность выжить - иметь короткую память и податливые мозги. Мы считали своим долгом доказывать таким же несчастным и запуганным людям, как мы сами, что мы-то и есть самые счастливые на свете. У нас самое могучее государ-

ство, самый мудрый вождь, мы разобьем всех врагов. Чтобы разбить врагов наверняка, мы начали с того, что перебили своих лучших военачальников.

Песня "Широка страна моя родная" родилась в годы моей молодости. И я знаю, что эта песня лилась из репродукторов там, где невинные томились за колючей проволокой, где люди, понявшие, что им нечего терять, тысячами шли на пулеметы, чтобы погибнуть или вырваться на волю...

Многие из нас и сейчас думают, что так и надо. Развелась тьма охотников доказывать, что мы развивались так, как диктовала историческая необходимость. Страна жила, как военный лагерь, и, дескать, на месте Сталина, скажем, тот же Киров, делал бы то же самое. У нас, говорят, не было других средств. Мы должны были стать монолитом и стали им, а что при этом полетели тысячи невинных голов ... что ж, это неизбежная плата за прогресс. "Мы были первыми и не могли не ошибаться". У нас и сегодня многие убеждены, что лучший способ устранения политических разногласий - расстрел. Тюрьма инакомыслящим! Туда их, нечего сеять семена скептицизма...

Сколько я наслушалась речей, что Сталин к репрессиям не имел никакого отношения. Он-то - наш садовник, он выращивал человека, как садовник выращивает дерево, а вот бесчисленные исполнители искажали его волю, играли на его подозрительности... Маньяка и садиста превращают в гения, в крупнейшую политическую личность после Ленина. Сталин, толкуют некоторые, обладал необыкновенной способностью формулировать волю народа в лозунгах, доступных каждому. Он умел доказывать своему народу и всему миру реальность этих лозунгов. Он исполнил всё, в чем клялся у гроба Ленина. Да, возможно... Но какой ценой? И что это за рай, в который тащат под пистолетом?

Сейчас, вроде, становится легче дышать. Говорят, доносы не принимаются. Поговаривают о массовой реабилитации. Кое-кому из знакомых, действительно, вернули доброе имя, родственникам погибших выплачивают компенсации, дают жилье. Изгнанным из партии возвращают партбилеты. Всё это хорошо...

Но люди моего поколения уже не верят, что мы вырвемся из лап прошлого. Прошлое - в наших ~~нервных~~ сердцах, под нашей

черепной коробкой. Проще разбить череп, чем изменить его содержание. Нас превратили в роботов, в удобрение, в суперфосфат. Никаких добрых растений на такой почве не вырастет. /.../.

х х х

Обдумать то, что открылось в словах Клавдии Степановны, по возвращении в Ленинград не было ни малейшей возможности. Я еще не кончил реферат для аспирантуры, а на носу были госы и сразу за ними - самое страшное: экзамен по зарубежной литературе и снова, с перерывом в месяц после госов, - экзамен по истории партии. Кроме того, наша староста Галкина уперлась и не хотела подписывать мою характеристику, вчерне составленную треугольником, ибо считала, что я с разъездами в Москву и на Дальний Восток пропустил непозволительно много занятий. Всё навалилось так сразу, что мне стало не до государственных проблем: разобраться бы в своих собственных.

Я зашел на кафедру зарубежной литературы доложить заведующему о своем прибытии. Львович /мы переняли это амикошонское прозвище от аспирантов/ поднялся мне навстречу: он неизменно встает при входе нового человека в кабинет и уже не садится, пока не сядет вошедший. Львович отвечает за постановку студенческой научной работы на факультете, я помогаю ему, он явно ценит мою расторопность, но своего отношения к моим научным данным не высказывает. Он спросил, как движется мой реферат, я что-то пробормотал в ответ, и Львович тряхнул хохолком и сказал скороговоркой:

- Библиография, библиография! В этом - все. Нельзя работать по чужим предисловиям. Когда вы начнете читать по-французски?

Сам он читает на всех европейских языках, и ему кажется, что научиться читать по-французски - не сложнее, чем добраться от Ленинграда до Москвы. К моим аспирантурным поползновениям он относится как будто сочувственно, но свое отношение выражает больше хмыканьем, взглядами и не поддающимися истолкованию эмфатическими оборотами. Род зашифрованного хмыканья он издал и на этот раз, с явным оттенком одобрительности, но

за счет чего следовало отнести этот оттенок: того ли, что я приехал и смогу наконец помочь с конференцией младших курсов, или того, что я всё-таки продвинулся в реферате, понять было никак нельзя.

Когда после недельного заточения в нашей общежитской гладилке, где я, закрывшись изнутри и вызывая тем самым взрывы негодования у всех модниц этажа, углублял тему, результаты работы были предъявлены Львовичу снова, он в пять минут ухватил все новое, коротко повторил его, сжав и обогатив, и прибавил:

– Посмотрите еще там и там, – и назвал такие пространные работы, какие не прочтешь и в год.

Хвалить профессор не любил. Только в том случае, если ему приходилось на семинаре или кружке выслушивать нечто совсем безнадежное, он говорил, что проделана большая и полезная работа, которая, безусловно, многое дала в профессиональном плане будущему учителю литературы. За три года нашего общения по СНО лишь однажды, прочитав деловую бумагу, составленную мной, Львович взглянул на меня иначе, чем обычно, в глазах его зажглись потайные лампочки, и он заметил:

– Тацит не сказал бы лучше.

– Могу я рассчитывать на поступление? – спросил я с телячьей родственностью.

Лампочки мигнули на мгновенье:

– Не меньше, чем всякий студент, не имеющий академической задолженности.

Характеристики наши утверждались в группе, но в присутствии лиц весьма представительных: куратора Калининой, члена партбюро факультета Платнова; видимо, ради рекомендованных в аспирантуру, пригласили и Львовича.

Дошла очередь и до меня.

– Как вы сами оцениваете свое общественное лицо? – при этом вопросе Платнов чуть не клюнул меня острым носом.

– Трудно судить самому, – сказал я. – Как староста кружка работал я с увлечением. На первом курсе был профоргом группы, но особенных успехов не было... Ну, в "Слове" острил.

Всё, пожалуй.

Платнов резко развернулся:

- А что мог бы сказать заведующий кафедрой?

Я взглянул на своего руководителя. Хохолок его аккуратно зачесан, лицо непроницаемо.

- Кхм... - закашлялся Львович. - Как староста кружка зарубежной литературы товарищ проявил... да, да... проявил известную энергичность и настойчивость. Нам удалось сделать кружок... кхм... функционирующим постоянно... О научных интересах данного студента... - он еще немножко покашлял, - говорить, по известным причинам, рано...

- У вас всё? - спросил Платнов.

- Всё... Да, да, безусловно всё, - сказал Львович и оглянулся растерянно, как будто спрашивая: можно ли считать себя свободным?

- Вам слово, Надежда Николаевна.

- Обсуждаемая нами кандидатура в аспирантуру... - сказала Надежда Николаевна, и взгляд ее устремился вдаль, поверх наших голов, как устремлялся он на лекциях ее во время горестного рассказа об участи веронских любовников, - студент не без задатков. В нем есть хорошая увлеченность, он любит литературу, активен на практических занятиях. Но, - Калинина сокрушенно развела руками, - товарищ крайне несобран и внешне, и внутренне. Он легко идет на поводу случайных настроений. И не только настроений - идей. Говорить о нем, как о человеке со сложившимся мировоззрением, значило бы впадать в явное преувеличение. Скажем так, - мироощущение. Зыбкое, неустойчивое, некритическое мироощущение, которое чревато самыми неожиданными последствиями. Ему не хватает цельности, он падок на сенсацию. Это - тревожный симптом.

- Спасибо, Надежда Николаевна. - Платнов повернулся к заведующему кафедрой:

- И вам спасибо.

Услышав эти слова, Львович быстренько встал, огляделся и выбежал мелкой трусцой, даже не взглянув в мою сторону.

- Есть желающие высказаться?

– Есть, – сказала Галкина.

Наши девочки к четвертому курсу уже испортили цвет лица косметикой, а волосы – химической завивкой, но Галкиной эти новации не коснулись. На лице ее попрежнему спокойно разливался деревенский румянец, а на плечах обвисла та самая кофтенка, в которой она приехала поступать в институт. За все восемь семестров Галкина не пропустила ни одного учебного часа. Ее уважительное отношение к Платнову не изменилось. Впрочем, она равно уважала всех преподавателей и даже за глаза, говоря о них, произносила имя, отчество и фамилию каждого полностью.

– Я буду говорить как представитель треугольника группы,– сказала Галкина. – Студент способный. В кружке работал хорошо. Но к посещаемости относился недобросовестно. Некоторые лекционные курсы игнорировал, на замечания треугольника и мои лично внимания не обращал. Недисциплинирован, имел нарекания со стороны коменданта общежития. По отношению к товарищам высокомерен. Личной скромностью не обладает.

– Спасибо, товарищ Галкина, за объективную и точную характеристику, – сказал Платнов. – Разрешите мне. Данного товарища я помню с первого курса, помню его, с позволения сказать, вопросы на моем семинаре. Какой-то душок, нездоровый привкус был в этих вопросах. Вас, молодой человек, интересовали гнойнички, имена, законно вычеркнутые из истории нашей литературы. Есть сигналы, что вы проявляли аллюзии вокруг сомнительных в идейном отношении произведений. Надо полагать, не в последнюю очередь и этим вы вызвали к себе законную неприязнь со стороны товарищей по группе, о чем здесь с подлинно комсомольской принципиальностью говорила студентка Галкина. Хорошо, по-партийному говорила здесь и Надежда Николаевна. Каждому коммунисту не грех поучиться такой зоркости в понимании людей. Нет, мировоззрения у вас нет... Мироощущение... Нам неясно, чем вы живете. Карьеристскими соображениями по поводу аспирантуры? Но аспирантура – не кормушка для карьеристов. Это кузница командных кадров нашей педагогики.

– Неправда! – крикнула Надя Шумихина. – Он не карьерист.

Девочки защумели. Из нестройного шума выкристаллизовывалось мнение, что я на самом деле нескромный, но не плохой, а хороший. Обе точки зрения нашли отражение в характеристике, но в итоге текст ее получился таким, что прилагать его к рекомендации в аспирантуру значило бы, на мой взгляд, провалить дело еще до экзаменов.

В заключение я попросил слова и сказал, обращаясь к Платнову:

- Я действительно мечтал об аспирантуре, хотя считал и считаю себя недостаточно к ней подготовленным. Но никаких шкурных интересов я не преследовал. Стыдно так говорить.

- Всё? - спросил Платнов.

- Всё.

- Ставьте текст на голосование.

Кончились госы. Первым экзаменом после них, как нас и предупреждали, пошла специальность, которую принимала небольшая комиссия во главе с заведующим кафедрой. После обсуждения комиссия сочла мои знания неудовлетворительными. Дальше, к моей великой радости, можно было не сдавать, и через два дня я вылетел на Дальний Восток с дипломом на дне чемодана.

x x x